

КЭТРИН*МЕРРИДЕЙЛ
КАМЕННАЯ
НЮЧЬ
СМЕРТЬ*И*ПАМЯТЬ
В*РОССИИ*XX*ВЕКА

Перевод с английского
Ксении Полуэктовой-Кример



издательство **АСТ**
Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА

★ 7 ★

ПРЕДИСЛОВИЕ

★ 13 ★

ГЛАВА 1 ★ ТОТ СВЕТ ★ 37

ГЛАВА 2 ★ КУЛЬТУРА СМЕРТИ ★ 68

ГЛАВА 3 ★ ДВОРЕЦ СВОБОДЫ ★ 100

ГЛАВА 4 ★ ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ОГОНЬ ★ 133

ГЛАВА 5. ★ “КРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ” ★ 162

ГЛАВА 6 ★ ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ ★ 195

ГЛАВА 7 ★ КАМЕННЫЕ НОЧИ ★ 229

ГЛАВА 8 ★ РОССИЯ В ВОЙНЕ ★ 262

ГЛАВА 9 ★ ПАНТЕОН ★ 298

ГЛАВА 10 ★ СМЕРТЬ В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА ★ 331

ГЛАВА 11 ★ ПРОШЛОЕ ВЫХОДИТ НА ПОВЕРХНОСТЬ ★ 363

ГЛАВА 12 ★ ВСЛУШИВАЯСЬ В ГОЛОСА МЕРТВЕЦОВ ★ 394

ПРИМЕЧАНИЯ И ИСТОЧНИКИ

★ 423 ★

БИБЛИОГРАФИЯ

★ 479 ★

УКАЗАТЕЛЬ

★ 499 ★

ГЛАВА ★ 1

ТОТ ★ СВЕТ

“Н о в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас”, — писала Ахматова в 1922 году¹. Поколения русских людей описывали свое бесстрашие схожим образом — как некое общее свойство, уникальную черту своей культуры, доблесть, порожденную страданием и взращенную глубинным, коллективным вдохновением. Некоторые писатели считали источником этого качества сам русский пейзаж: леса, степи, снега, необъятное северное небо. Другие связывали его с почвой, с глиной или суглинком, с той “самой милой, горькой землей, где я родился”². По мнению многих, эту душевную нестигаемость выковали именно горькие невзгоды и испытания. Но практически каждый, говорящий о мистической составляющей русскости, о славянской душе, помещает эту искру всепоглощающего русского пламени в сердце каждого человека в самую гущу народную, средоточие самых простых людей. В 1941 году, в разгар самой трудной блокадной зимы, обращаясь к воображаемой соседке, обыкновенной жительнице Ленинграда, Ольга Берггольц писала:

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!³

Через века, наполненные насилием: войнами, иностранными вторжениями, многократными случаями массового голода и стихийных бедствий, — проросла, дав пышные цветы, концепция мистического национального существования России. Изоляция СССР способствовала укреплению этой идеи в XX веке, и она дожила вплоть до того времени, когда другие общества по-

вели разговор о глобальной культуре. Стороннему наблюдателю идея существования духовной общности нации может показаться абсурдной и даже вредной. В конце концов, на территории России проживает множество различных этнических групп, считающих ее своим домом. Само по себе население России представляет собой некий гибрид, сложившийся в результате торговли, завоеваний, миграции и смешанных браков на самом большом материке планеты. Но это дела не меняет. Идея мистической твердости и выносливости продолжает владеть многими умами, да и саму русскую душу даже в наше время часто описывают как своего рода генетическую характеристику вроде светлой кожи. В литературе бытует мнение о том, что суть этой выносливости парадоксальна и противоречива. Западных либералов на протяжении многих столетий изумлял русский шовинизм, однако у парадокса всегда должна быть оборотная сторона, и в данном случае это стоицизм и поэзия, подлинное свидетельство стойкости, а также исключительно близкое знакомство со смертью. Не об этом ли писал Александр Блок в 1918 году?

Россия — Сфинкс! Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..⁴

Мощный образ, предложенный Блоком, подразумевает определенную преемственность: в своем стихотворении он обращается к скифам, древним воителям из южных степей. Однако элементы, из которых складывалось отношение русских людей к страданию и смерти, с течением времени претерпевали изменения. Даже вернувшись в годы детства Блока, пришедшиеся на конец XIX века, мы окажемся в обществе, стоявшем на пороге своего распада. Станный, практически неузнаваемый мир. Большинство образованных русских людей того времени без труда смогли бы назвать его основные черты. Одной из них была религия — православие. Другой — самодержавие, абсолютная власть царя. В обоих случаях эти столпы старого мира поддерживали ощущение единства, коллективности, соборности, связанных с идеей Святой Троицы, единства, вбирающего в себя множества. В XIX веке крестьяне называли самих себя “православными” с той же готовностью, что и “русскими”. До революции православие было официальной религией примерно 94 процентов этнических русских. Царь правил по дарованному свыше праву, и расстояние, отделявшее его от Бога, едва ли превышало ту пропасть, что лежала между простым народом и монархом.

Спустя столетие рухнул советский режим, и миллионы русских попытались хотя бы частично вернуть себе этот мир. Они искали утрачен-

ное единство, определенность и несомненность, а также воображаемое достоинство и благородство. Десятки тысяч из них снова обратились к православной церкви, а некоторые даже заговорили о том, чтобы возродить монархию. Вернулись к почитанию дискредитированных символов аристократии: орла, трехцветного флага, некоторых патриотических свя-
тых — тех, что расправляются с драконами, скача на гарцующих лошадях, — и массово устремились в церкви. Таким всепоглощающим было страстное желание оставить конфликты позади, обрести непреходящую идентичность и воссоединиться с воображаемой версией прошлого! Как будто бы и вправду можно разорвать нить истории и заново соединить два ее оборванных конца — дореволюционный *fin de siècle** и постсоветский ренессанс, срастив, связав их воедино через целое столетие советского социализма.

И все-таки именно исчезнувший мир владел мечтами тех, кто стоял с зажженными свечами в темной церкви, наблюдая, как прихожане кланяются в унисон, и растворяясь в богатстве песнопений. Как и всякое убежище от настоящего, дореволюционная Россия, какой ее представляли себе праправнуки, была фантазией. XIX столетие не было золотым веком национального единства и не было лишь почвой, из которой суждено вырасти истории XX века, истории Советской России, даже несмотря на революцию, ставившую целью заново изобрести и переосмыслить культуру. Это было время стремительных изменений, время тревог и множества взаимоисключающих возможностей. Его будущее не было предопределено.

Живых свидетелей того времени не осталось. Скучны даже письменные источники, которыми мы располагаем: мемуары и письма, официальная статистика, старательные заметки знатоков древностей и этнографов, редкие рассказы путешественников. Современному читателю или исследователю зачастую не вполне понятны цели и задачи, стоявшие перед авторами этих документов, так что, обратившись к этим источникам из дня сегодняшнего, легко упустить из виду все то, что было настолько очевидно для людей того времени, что даже не оставило письменного следа, а считывалось современниками между строк. Смерть еще не была вотчиной медицины, коей ей предстояло стать в дальнейшем; процессы похорон и траура по умершему были вполне вещественными компонентами перехода души в иной мир, и пламя геенны огненной полыхало все так же ярко. Из этого мира можно раздобыть отдельные артефакты, но для того, чтобы вообразить себе его весь, представить, как обитавшие в нем люди думали о себе, каким было их мировосприятие, ценности и табу, требуется серьезное усилие. На самом деле даже концепция собственного

* Конец века (*фр.*).

“я”, концепция индивидуума, наделенного правом выбора и чувствами, вполне могла привести в замешательство многих представителей того самого другого поколения.

Письменные источники предлагают череду отдельных образов. Например, пособия, изданные в конце XIX века, со всей скрупулезностью описывают официальный православный взгляд на природу жизни и смерти. Они рисуют картину рая и ада, сообщая нам о том, что, по мнению верующих, должно произойти с их душами, и напоминают современным им читателям о грехе, богохульстве, роли христианских таинств и молитвы. Однако, чтобы понять, что имели в виду авторы этих источников, необходимо выйти за пределы текста и представить себе мир, в котором религиозное сознание не было исключением или проявлением эксцентричности, мир, в котором церковь была озабочена не столько сокращением паствы, сколько борьбой с тем, что ей виделось ересью, заблуждениями и суевериями. Повсеместно встречались пассивные верующие, многие сомневались в некоторых аспектах усвоенного ранее катехизиса, однако у большинства русских людей конца XIX столетия вера была так прочно укоренена в сознании, что превратилась в своего рода рефлекс, не зависящий от формальных догм, в набор метафор и образов, описывающих процессы умирания, смерти и загробной жизни так, как будто бы не существовало никакой иной обоснованной космологии.

В силу того что эти метафоры не мои и не мною придуманы, я, как любой новообращенный, вынуждена начинать с самого базового “учебника”. В этом смысле один из самых вразумительных и ясных — всеобъемлющий труд монаха Митрофана “Загробная жизнь. Как живут наши умершие и как будем жить и мы после смерти по учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и по выводам науки”, впервые опубликованный в 1880 году⁵. Митрофан объясняет, что русское православие — религия, которая всегда основывалась на надежде. Праздником, формирующим самую суть этой веры, была и остается Пасха, а не Рождество. Христос православия — это Христос, воцарившийся на троне, окруженный святыми и ангелами, воскресший Господь во славе, возглавляющий торжественные церемонии, а не изломанная фигура на кресте и даже не хрупкий младенец Иисус. Смерть попирается бесконечно и неизменно, и человеческие души как фрагменты божественного разделят это бессмертие в том случае, если им удастся избежать вечных мук ада. Ад — единственная альтернатива спасению и жизни вечной в царствии небесном. Православным так же трудно представить себе чистилище, как смириться с идеей существования другой правды (точнее, других правд — именно так, во множественном числе), иных оттенков смысла, смириться с возможностью торга на пути к духовному откровению. Их литургия прекрасна, но она умышленно создана та-

инстинктивной и непостижимой, чтобы быть принятой безоговорочно и без лишних вопросов.

В этой системе смерть является не концом жизни, а моментом перехода, практически перерождением. “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (рабы Твоея), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная”, — говорится в православной молитве об усопших⁶. Эти слова утешения отзываются эхом еще одного аспекта веры — благоговейного трепета. В этой религии смерть и божья кара не были одомашнены и приручены, и хотя истинно верующие знают, что смерть служит преддверием жизни вечной, даже они могут сомневаться в том, что этот переход окажется мирным и безмятежным. Смерть часто толкуют как начало путешествия, совершаемого на лодке или на саних, запряженных тройкой диких лошадей, так что мысль о том, что душе предстоит отправиться в путь, наводит ужас: ведь это расплата и испытание.

Митрофан подробно изложил этапы этой одиссеи, описав их с географической буквальностью и снабдив подобием “расписания” в реальном времени. Его книга объясняет, что душа остается на земле три дня и три ночи и что за это время она наведывается в места, где провела большую часть того времени, что было отмерено ей на земле. Путешествует она не в одиночестве, а в сопровождении ангела-хранителя, однако его общество совсем не обязательно сулит отраду и утешение. Этот ангел не просто милосерден, он не эдакая добрая фея. Его задача — открыть изумленной душе подлинный смысл ее земных поступков и решений, какими бы ужасными они теперь ни казались. Молитвы, которые в этот период скорбящие воздают за упокой души, должны быть искренними, потому что немногим дано бесстрашно созерцать подобного рода правду, явленную им напрямую, без обиняков. Другой авторитетный источник объясняет, что православная погребальная служба — это “не ритуал, а духовная подпитка живой человеческой души, отлетевшей от смертного тела, духовный акт, утверждающий бессмертие души во Христе, проявление людской заботливости о душе в тот момент, когда она входит в мир иной”⁷.

Через три дня после смерти, в тот день, который ко времени Митрофана уже более века использовался для погребения, душа возносится на небеса, чтобы встретиться с Богом. В упрощенном изложении за этим следует еще одно откровение: мимолетное видение рая, где душа проводит шесть дней, и куда более длительный осмотр ада. Когда Митрофан писал свою книгу, он уже вынужден был противостоять некоторому общественному скепсису в отношении самой идеи осуждения на вечные адские муки и подозрению, что вертела и вилы в руках чертей могут оказаться вполне аллегорическими. Вот почему от его описаний веет древним ужасом. Православный верующий не размышляет о загробной жизни с блаженным спокойствием, и са-

мое пугающее событие из всех ожидает каждого смертного всего через сорок дней после кончины. Это момент персонального суда, когда все, что душа узнала во время своего путешествия, становится непреложной истиной, когда душа начинает сталкиваться с последствиями тех действий, о которых она, возможно, предпочла бы забыть, когда душа оказывается перед лицом реальной перспективы быть обреченной на муки вечные до скончания веков.

Но есть и утешения, и старые книги перечисляют их все. Конечно, истинно верующие вроде святых и мучеников спасутся. А что касается всех остальных, то пока существует этот мир, каждый свершающийся суд имеет временную силу. Лишь Страшный суд, всеобщая расплата за грехи, когда мертвые восстанут во плоти, будет бесповоротным и непреложным. Поэтому даже в глубинах ада несчастные души грешников могут начать искупать свои грехи. За них могут молиться не только святые и мученики, но и ныне живущие, так что в обязанности каждого человека входит молиться за умерших, соблюдать церковные праздники в память о них, а также следить за судьбой конкретных душ, собираясь не только на сами похороны, но и на поминальные молитвы, которые читаются на девятый и сороковой день после кончины и каждый год в годовщину смерти.

На этом этапе даже в книге монаха Митрофана граница между формальной доктриной и обычаем истончается. Душа православного верующего может не принадлежать этому миру, но она, безусловно, возвращается на землю, проклятой или спасенной, и сохраняет вещественные отношения с почвой, особенно со своей собственной могилой. Некоторые говорят, что души возвращаются в определенные дни, среди которых ночь перед пасхальным воскресеньем, Радоница (или Радуница, второй вторник после Пасхи), Троица и День Всех Святых. Другие добавляют, что во время подобных визитов душа принимает материальную форму (поэтому важно, чтобы тело было похоронено целиком, а не кремировано, потому что это нарушит процесс телесного воскресения), что она моется, ест, пьет, что семья и друзья могут поговорить с ней и передать вместе с ней послания другим усопшим, отошедшим в мир иной гораздо раньше, или просто воспользоваться присутствием этой души для молитвы. В XIX веке люди верили, что такие возвращающиеся души шли по стопам куда более древних духов, среди демонов, обитавших в лесах, на болотах и у ручьев, или в компании призраков. Но с призраками Митрофан мириться был не намерен: в березовой роще вокруг его церкви никаких рыскающих демонов не было. Однако читатели его книги, как это вообще свойственно людям, вполне могли верить в несколько вещей одновременно: бросали в гроб копейку, чтобы умерший на том свете мог заплатить паромщику за переправу, а затем на отпевании в церкви исповедовали каноническую веру.

Религиозные убеждения были настолько неотъемлемой частью жизни, что многие документы не останавливаются на них специально, считая их обстоятельством само собой разумеющимся и предпочитая сосредотачиваться на трудностях сбора средств, борьбы с безнравственностью или улаживания местных конфликтов⁸. И напротив, философия и притязания самодержавия, другой важнейшей опоры российской культуры XIX столетия, несоразмерно более подробно представлены в опубликованных текстах, газетах, официальных документах и мемуарах. Сегодня нам может быть нелегко представить, что власть царя воспринималась как дарованная свыше, особенно если задуматься о вполне конкретных людях, облеченных этой властью, но это именно тот случай, когда оказываются полезными источники, особенно те из них, где рассматриваются вопросы, связанные со смертью и похоронами. Царские министры из всех сил стремились поддержать представление о божественном происхождении властной иерархии, особенно в те тревожные месяцы переходного периода, который следовал за кончиной любого монарха. Их послание обществу было кристально ясным: царь не обыкновенный смертный или просто мирской властитель, нацию объединяют кровь и почва, священная российская земля, но также ее сплачивает и скорбь, а Господь должен хранить следующего царя, когда тот принимает тяжкое бремя абсолютной власти во имя своего страждущего народа.

Последним царем, скончавшимся до революции, был Александр III. Из описаний горя, в которое погрузилась страна, а также того ритуала, который двор посчитал подходящим для похорон самодержца, вырисовывается политический взгляд на Россию XIX столетия, дополняющий духовность Митрофана и его собратьев по монашеству. В данном случае акцент был сделан на государственной власти, неравенстве, почтении к умершему, а также на таинственности правителя, который и после смерти остается блюстителем и защитником своего народа. Церкви здесь отведена всего лишь роль трагического хора. В центре всеобщего внимания находится само тело почившего самодержца как воплощение мистического национального единства и царской власти, дарованной свыше.

Александр III скончался в четверть третьего пополудни 20 октября 1894 года. Перед смертью он находился в царском дворце в крымской Ливадии под наблюдением врачей, которые в течение нескольких недель боролись с последствиями заболевания почек, погубившего Александра в довольно раннем возрасте — в 49 лет. Санкт-Петербург узнал о его смерти спустя пять часов, когда на стенах публичной библиотеки на Невском проспекте появилось объявление в черной траурной кайме. По всей столице России, в каждой ее церкви зазвонили колокола, и этот печальный, неумолимый перезвон не смолкал всю ночь.